

ЛОКАРМЕН

РАСКРЫШ

# Лазарь Кармен

## За что?!

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

**Лазарь Кармен  
За что?!**

— Ваше превосходительство, за что?! – вопрошал, заметно рисуясь, как актер, несмотря на адскую боль в полости живота, возводя глаза к небу и простирая руки, Емельян Спиридонович Лапшев – пристав Вознесенского участка.

Он лежал в постели, в белой сорочке, под шелковым голубым одеялом, с большими перламутровыми пуговицами, небритый, распухший, некрасивый.

Вчера, когда он мчался на своем рысаке по Иннокентьевской улице, ему вдруг пересек дорогу какой-то юноша, с виду рабочий, и многократно благословил его браунингом.

Две индифферентные пули пролетели мимо – одна ударилась о крыло пролетки и, сплюснутая, упала на землю, другая зарылась в шину, зато остальные три, пышущие злобой и местью, шлепнулись с каким-то злорадством в его округлый, любовно возвращенный им живот и произвели там страшное опустошение.

Лапшев умирал.

– За что, за что, ваше превосходительство?!  
Вопрошаемый градоначальник, упитан-

ный мужчина в генеральском мундире, стоял у его изголовья. Он чувствовал какую-то неловкость вблизи этого умирающего человека и старался не глядеть на него.

В ответ на причитания Лапшева он бормотал что-то вроде:

– Ну, успокойтесь, я доложу о вас, и вас обязательно представят. – Бормоча, он в то же время думал: «А что, если и меня также... того?...»

Из-за широкой спины его выглядывал, вытянув длинную шею, словно желая выскочить из узкого мундира, глестоподобный Аполлон Иванович Шесть – чиновник особых поручений. Пьяные глаза его с любопытством оглядывали пристава.

В ногах умирающего стояла жена его – Иллиодора Трофимовна, смазливая, осчастливленная мещаночка с бойкими, но в данный момент скромно потупленными грустными глазами. На длинных ресницах ее трепетали две слезинки и, несмотря на все усилия ее, не могли скатиться. А в широко раскрытых дверях толпились несколько околоточных, хмурые и озлобленные, агенты, вестовой и при-

слуга.

Околоточные вдруг расступились и пропустили брандмайора. Стройный, точно в корсет затянутый, красномордый, напомаженный, он вошел мягко, поблескивая своими лакированными ботфортами и каской, которую держал в правой руке на отлете.

На середине комнаты он остановился, крепко прижал каску к груди и почтительно поклонился градоначальнику, после чего ловко поймал поданную ему пухлую руку и так же почтительно пожал ее. Он затем пожал руку вдове и чиновнику и, едва касаясь ковра ботфортами, подошел к постели. Лапшев улыбнулся ему печальной улыбкой. Он продолжал играть.

– Поглядите, что они со мной сделали! Ловко обработали!.. А?! – простонал Лапшев.

Жирные губы его при этом и подбородок запрыгали. Лапшев знал, что он должен умереть, но он не хотел умирать.

И как умирать, когда лишь теперь началась его настоящая жизнь?! Его ожидало столько радостей, удовольствий!

Жизнь же его до сих пор разве можно было

назвать жизнью?!

В далеком прошлом он тянул лямку мелко-го писаря при участке и агента, а потом око-лоточного надзирателя. Сколько неприятно-стей перенес он! Порядочные люди сторони-лись его, как зачумленного, старшие третиро-вали его. Когда приезжал член какого-нибудь посольства или абиссинская миссия, он про-стаивал на дежурстве, как дурак, у ворот го-стиницы до поздней ночи.

И вот наконец, после долгих страданий, ему повезло. Он выскочил в пристава. Это случилось прошлым летом.

Он теперь в почете и всем доволен. У него орловский рысак – Ахилл, на котором он каж-дый день, по утрам, с треском лупит на рапор-ты к его превосходительству, пятьдесят тысяч в банке, дань, собранная за последние три го-да с обывателя, рецидивистов и проституток, и маленькая дачка на морском берегу.

Понятно, что он мог бы обзавестись дачей в пять раз больше этой, но сейчас было неудобно. Вот если он надумает когда-нибудь бросить службу, тогда дело другое...

Умереть!.. Это была бы такая несправедли-

вость, тем более что на дворе сейчас весна. Солнце горячее так и хлещет в окна и заливает всю комнату, за окном цветет акация, щебечут ласточки.

Конечно, акация, ласточки – все это вздор, но все же он чувствовал весну...

– Сахарное мороженое! – заливался где-то далеко, в глухом переулке, чей-то тенорок.

А в соседнем доме уличные музыканты наигрывали на скрипке и арфе «Ласточку»:

*Ветерок чуть колышет листочки,  
Знойным паром объята земля.  
Аромат распускают цветочки,  
Где-то ласточки песня слышна!..*

Лапшев заметался на постели, как подстреленный.

– Что с вами? – спросил брандмайор.

– Папочка! – бросилась к нему жена.

– Ничего, – ответил Лапшев глухо.

Он потом повернул голову вбок, как птица, зарылся носом в подушку и тихо заплакал.

Этим обстоятельством воспользовались градоначальник и чиновник и потихоньку улизнули из комнаты. На смену им вошли

Иван Иванович Серпухов, пристав смежного участка, и помощник его – Бубенчиков.

Лапшев плакал.

Вчера он был у себя на даче и осматривал ее. Какой восторг там! Все цветет, ликует!

Только что отремонтированный особнячок весь заткан зеленью, с веранды рукой подать к морю.

В прошлом году у него на этой веранде собиралось до двадцати человек, пили чай, обедали, ужинали и играли в «стуколку» и «шмендефер».

Узенькая дорожка, ведущая вниз, к купальне, наново прочищена и присыпана желтым песочком. Эх! Хорошо ранним утром освежиться в холодной морской воде, выпить потом горячего чаю с сливками.

Когда он осматривал дачку, к нему подошел рыбак и предложил свежую скумбрию, отливающую серебром, жирную, толстую. Нанизанная на бечевке, она жила еще и бросалась.

Лапшев страсть как любил скумбрию, особенно поджаренную, с лимоном и уксусом, и он договорился с рыбаком, чтобы тот достав-

лял ему каждодневно к столу два десятка. И как раз на сегодня был назначен переезд на дачу.

Мебель со вчерашнего дня стояла совершенно упакованной, в ящиках. Утром за нею пришли ломовики, но жена отпустила их. Он слышал, как она сказала им:

– Мы сегодня переезжать не будем.

Слова эти полоснули его, как ножом.

Лапшев перестал плакать, повернул голову и сквозь красноту припухших глаз увидел, как брандмайор переминается с ноги на ногу и собирается бежать по примеру градоначальника и других.

Он горько усмехнулся. Все бежали прочь, отдав дань формальности, бежали из этой обители смерти на сияющую улицу, где пахло весной.

– Уже?! Удираете?! – спросил его ехидно Лапшев.

Тот вспыхнул и забормотал:

– Нет! Нет!.. Что вы?! Хотя мне и надо на освящение, но еще рано!.. Поспею!..

– Ах, освящение!.. – И Лаптеву снова захотелось плакать.

Сегодня, в четыре часа дня, в его околотке освящали Дом трудолюбия, и по сему случаю предстояло торжество и грандиозная выпивка.

Лапшев по долгу службы должен был присутствовать на этом торжестве.

А любил он эти освящения! Там можно было встретить избраннейших и почетнейших людей – городского голову, командующего войсками, архиерея. Ему доставляло громадное удовольствие козырять всем, открывать дверцы экипажа и подсадить мощи ее превосходительства, послушать истинно русские речи командира полка, а главное – хорошенько подзакусить и подвыпить на краю общего стола, у дверей, в тесной компании дьякона, старших певчих и кучки жертвователей-лабазников...

Брандмайору так-таки и удалось улизнуть. В комнате теперь оставались одни Серпухов и Бубенчиков.

Поймав взгляд Лаптева, оба изобразили на своих лицах глубочайшую скорбь. Но он знал, что они притворяются, в особенности Бубенчиков.

Лапшев знал сокровенные думы помощника, ибо думы всех полицейских одинаковы. Бубенчиков думал о том, что сейчас, после десятилетнего томительного ожидания, освободится наконец еще одно место пристава, и, – кто знает? – быть может, он сподобится...

Лапшев читал, как в раскрытой книге, также и в душе долговязого Серпухова. Тот думал о нем: «Удостоился, собачий сын! Сам его превосходительство потрудился, портрет его в „Ведомостях“ напечатан, точно он Скобелев какой; пожалуй, высочайшую телеграмму с соболезнованием получит, а встанет – полицмейстером назначат! Везет!»

– Арестант! – хотел ему бросить Лапшев, да воздержался.

Он с ненавистью посмотрел на его сытое, розовое лицо, и слезы обиды чуть снова не выступили у него на глазах.

– И отчего они меня, а не его, например?! Чем он лучше меня?! У него семнадцатого октября в участке демонстрантам руки выкручивали, легкие отбивали, насильовали, голодом по три дня политических морили. У меня, положим, тоже ребята охулки на руки не кла-

ли, – Лапшев зло улыбнулся, – но все же по-божески...

«А погром помнишь?» – шепнул ему чей-то злорадный голос.

Погром?! Ах, да! Он вспомнил!.. Быть может, за это?!

Вышел приказ по всей российской полиции – подавить революцию. Но как?! Бить жидов, и как можно чувствительнее. И он постарался. Он передел своих городских в штатское платье, собрал хулиганов, роздал всем оружие и направил их на еврейский квартал. Вот была потеха! На его глазах грабили, резали женщин, стариков, детей, насиловали девушек, вбивали гвозди в черепа, отрезали груди, а он хоть бы пальцем шевельнул. Какой-то жидок молил его о защите, но Лапшев толкнул его в толпу, та подхватила его, и не успел он моргнуть глазом, как от жидка осталось одно воспоминание.

«А выстрел помнишь?» – шепнул тот же голос.

Лапшев встряхнул мозгами и вспомнил. Он забрался в густо населенный дом и выстрелил с балкона. Погромщики после этого,

как стая бешеных собак, ринулись на дом и перерезали всех жильцов.

– А того студента помнишь?

Лапшев припомнил и того студента. Он припомнил потом еще десять лиц, и теперь ему сделалось понятным – за что. Но он все еще не хотел признать себя виновником и по-прежнему спрашивал каждого входящего:

– За что?!

В комнату не переставали входить на цыпочках и выходить разные лица. Товарищи по службе, родственники и обыватели – купцы, домовладельцы.

Он с трудом узнавал их, но ее, эту толстую даму, пестро одетую, с лицом, как у мопса, в золотых серьгах колесом, он узнал сразу. Это была Катя-одиночка. Пять лет изо дня в день она гуляла по Нарышкинской улице – самой фешенебельной в городе, навязываясь мужчинам, и пять лет подряд каждый месяц аккуратно, 1-го, она являлась к нему на дом и вносила ему следуемый «оброк» – десять рублей. Это за право в подведомственных ему владениях распоряжаться своим телом, как ей угодно.

Таких, как она, у него была дюжина. Катя была аккуратна до щепетильности. Ни дождь, ни вьюга не мешали ей являться к нему 1-го.

Но однажды она явилась 7-го, и он вlepил ей две звонкие пощечины.

– Ты где пропадала? – спросил он.

– В больнице лежала.

– С...! Я тебе дам – в больнице!..

Она пришла теперь проведать своего патрона – на всякий случай. Он мог выздороветь, и надо было задобрить его своим вниманием.

Катя вошла к нему с трепетом, но, когда она увидела его таким беспомощным, жалким и узнала, что часы его сочтены, в темно-карих глазах ее засверкали веселые огоньки. Он заметил эти огоньки...

А солнце по-прежнему золотило комнату, щебетали воробьи, ласточки... Перед Лапшевым замелькала его дачка с верандой, спрятавшаяся в зелени. Она дразнила его...

«Хорошо бы, – подумал он, – скумбрии покушать теперь или выкупаться...»

Но вот лицо его почернело, и он замахал руками. Перед ним стоял отец Иван – настоя-

тель ближайшей церкви, высокий мужчина с бородой по пояс.

– *Не хочу! Не хочу!*– крикнул дико Лапшев.

Он забыл, что сам давеча пожелал причащаться.

Но отец Иван не отходил от него. Он заговорил с ним кротко, ласково и убедительно, желая во что бы то ни стало напутствовать его.

Лапшев поддался его сладким, тихим речам и причастился.

Когда он причащался, слезы текли по его щекам, и он теперь не спрашивал больше:

– За что?...

\* \* \*

На следующий день его хоронили.

В тройной цепи из казаков, драгун и городовых шествовал за гробом градоначальник, и на гробу красовались два венка: «Глубокоуважаемому Емельяну Спиридоновичу от признательных домовладельцев» и «Верному слуге престола» от временноисполняющего должность губернатора.

А впереди тощей околоточный с висячими серыми усами бережно нес бархатную подуш-

ку, на которой покоились регалии покойного – орден Эмира Бухарского и медаль «За од-  
нодневную перепись».